# Нина БЕЛЕНИЦКАЯ

# Письма к тятеньке[[1]](#endnote-2)1

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

## Письмо 1

Здравствуй, папа. П-а-п-а. Четыре буквы, парно взятые из алфавита. Непривычные в сочетании для моих губ. Непроизносимые не помню, сколько уже лет. Режущие горло мелкими когтями остро наточенных булавок. Безусловный – как из учебника по биологии за 9-й класс – рефлекс на боль. Все, что я могу, - это безмолвно их рисовать на бумаге. Сказанные вслух они оглушат меня, как песнь сирены.

Здравствуй. Мы с тобой знакомы едва ли. И даже тот факт, что когда-то мы были одним организмом, не делает нас ближе. В отличие от тебя, то время, когда я была одним из твоих сперматозоидов, скрыто от меня вечным мраком предрождения. Что ты тогда ко мне чувствовал? Уважал ли уже тогда во мне личность?

Передав меня моей матушке, ты решил, что избавился от меня навеки. Не тут-то было. Сморщенным, орущим, иссиня-красным комочком вошла я в твою жизнь. Мешала спать по ночам и беспробудно пачкала пеленки. С расчетом на будущее, верно. Вышла же я из нее болезненно-восприимчивым подростком, с кожей и нервными окончаниями переставленными местами. Каждое соприкосновение с миром причиняло мне необъяснимое страдание. В любом социуме, будь то ровесники, семья или старики, мне становилось нехорошо. Наверное, я была слишком жадной на воздух. Помнишь ли ты меня такой?

А я тебя помню по обрывкам. Лоскутных воспоминаний. Затерявшихся фотографий. Недовыброшенной твоей одежды. Красным пятнам на запястье, когда за какой-то проступок ты перекрыл дыхание моим пальцам. Каждый ребенок хоть однажды заслуживает наказание. Но разве он заслуживает забвение?

Здравствуй. Тебя нет - может, никогда и не было, а я не знаю, что делать с твоим местом в моей жизни. Как отвечать на вопрос о тебе? Обычно я глухим голосом выговариваю, что у меня нет от-ца, но всякий раз при этом морщусь про себя. Могу ли я так говорить, если ты меня растил до хрупких семнадцати лет?

Но их тоже больше нет. Как нет, впрочем, и сегодняшних двадцати – чуждых и слишком громоздких для меня. Я потеряла свой возраст лет пять тому назад, когда не смогла найти соответствие между духовным и телесным опытом. Мне любило казаться, что душа моя уже успела пережить то, что людям, меня окружающим, только предстоит. А мне, умудренной, суждено лишь снисходительно за ними наблюдать.

Но все оказалось иначе. Просто тогда я перестала расти. Сначала физически - осталась навечно в обличии почти ребенка. А потом и мироощущением – задержалась в выдуманно-абстрактном мире. Ты меня недоростил. Не слышал, как я пела на последнем звонке (ах, да, я и забыла - ты всегда выходил из комнаты, когда я пою). Не держал меня за руку перед вступительным сочинением. Не утешал, когда я исплакала весь первый курс безутешно-безответной любовью.

Порою я думаю, что всех, кроме мамы, люблю безответно. Если бы они знали, как сильны мои чувства к ним, то бежали бы без оглядки, чтобы уберечься от шквала предназначенных им эмоций. Да многие, по-моему, так и делают. Люди вообще предпочитают спокойствие. Равно-душие. Только равенство не душ, а холодности. Я безразличен к тебе, ты – ко мне, и все счастливы. Только как быть тем, кто неравен?

Здравствуй, папа. Неужели и тебя я люблю безответно? В буквальном смысле – да: сколько времени я заполняю пространство своих снов вопросами почему? почему? почему? и никогда не слышу твоего ответа. А в переносном… Но разве любят в пере-носном? Разве что маленьких детей, пере-нося их с места на место во время их безудержных ночных рыданий. – Шучу. Хотя шучу ли? Маленьких детей как раз и любят. Впрочем, как и молодых родителей.

Но люблю ли я тебя?

27-29 июля 2002

## Письмо 2

Инфантильная позиция, скажешь ты. Самой уже 20 лет, я в ее возрасте… Нет, не так. Себя в пример ты никогда не ставил. Если честно, я совсем не помню, как ты строил фразы. Но почему тебе так хотелось, что я была старше, чем я есть? Уходя, ты назвал меня отрезанным ломтем. Только зачем ты меня отрезал раньше времени? Думаешь, позже было бы труднее расстаться? Успел бы привязаться ко мне сильнее?

Ломоть… - это что-то аморфное. Беспомощный кусок чего-то большего. Часть, не способная к самостоятельному существованию без целого. От чего ты меня отрезал? Отчего?

Наверное, это очень негордо с моей стороны писать тебе – тебе, от меня отвернувшемуся. Но, знаешь, гордость (та, что гордыня, а не чувство собственного достоинства) унаследована мною от тебя, и, разглядев в тебе ее разросшиеся габариты, я решила усмирить своего огненного чертенка. Так что вот моя вторая щека.

Мне уже не страшно. Еще немного, и я совсем потеряю чувствительность, превратившись в дряхло-дряблое вещество, коим кажутся обкусанные губы, обезболенные на приеме у дантиста. Погрузившись в них зубами, ты с естествоиспытательским рвением пытаешься понять, до какого предела можешь не чувствовать боль.

Ну, рассказывай, как дела, па-па. Что поделываешь? - Мои образы кажутся тебе чересчур кровожадными? Прости, я сбилась с намеченного слога. Всю свою сознательно пишущую жизнь я старалась исторгать только воздушно-красивые фразы, ритмично порхающие над страницей. Чего я боялась? Повторений. Банальностей. Как будто, научившись в 17 лет у своей 9-летней сестры кокетничать, разучилась говорить просто, и за замысловато приукрашенными строчками хотела спрятать собственное лицо, неинтересное без макияжа словесных акварелей.

Ах да, я снова забыла. Ты ведь не знаешь, что я пишу. Первый мой рассказ – написанный еще при тебе – ты не заметил. А к робким моим журналистским шагам отнесся как к девчоночьей забаве. Не хотела сама рассказывать – я всегда смущаюсь, когда об этом заходит речь, - но я действительно пишу. И это самое главное, что я делаю в жизни. Я пишу смазливенькие эссе, наводненные меланхоличными мыслями в изящной словесной упаковке. И еще пьесы – разные и многоголосые, воронкой засасывающие в себя все происходящее со мной. Как тайный агент, как жадная до чужой жизни бабка, как - помнишь, Тригорин в диалоге с Ниной (!!!) об этом упоминавший – слежу я за действующими вокруг людьми, за разыгрывающимися трагедиями/комедиями/фарсами, чтобы использовать потом. Будто я не живу, а лишь наблюдаю, мысленно занося увиденное в каталог историй, лиц, обликов. И каждый новый опыт получаю лишь для того, чтобы поместить в пьесу. Не жи-ву, а ви-жу - жи-ву наоборот - вывернутые наизнанку слоги моего бытия. Вя-жу зрительные образы, вместо того, чтобы создавать реальные.

Но постой. По-моему, ты никогда не любил Чехова. Впрочем, это и неважно.

29-30 июля 2002

## Письмо 3

Очевидно, я страдаю многословием. Что ж, для человека, пережившего 4 месяца творческого воздержания, это грех весьма безобидный. Но если я не пишу больше полугода, происходит свертывание кровяного потока накопившихся чувств, образов, историй. Главное - успеть набросить сачок на легкую бабочку вдохновения, а не терять время на разглядывание ее гуашно-раскрашенных крыльев. Пропустишь – и будешь сидеть в засаде долго-долго, пока озлобленная пустота мыслей не загонит тебя обратно в обыденность. Этой весной Муза приходила ко мне каждый день, и мне не требовалось никаких хитростей, чтобы задержать ее. Мы писали пьесу везде: в метро, в ванной, на лекциях, в задымленном чаду пьяных вечеринок, в глазах того единственного, чье равно-душие и породило всю эту вереницу отвергнуто-драматургических изысканий.

Из литературного боя я вышла победительницей. Расправилась со всеми тенями, расстраивавшими мне сон, доказав им, что, по абсолютным законам художественного мира, юноша, похожий на мою подростковую мечту, должен ответить мне взаимностью, а отец, с которым я не общалась много лет, не переставал все это время любить меня. Не поставив последней точки, я не понимала, как смешна, - размахивающая мечом бумажным. И верно: бумага, исписанная тонкими компьютерными буковками, стала единственным моим оружием. Плести слова – вот все, что я умею.

Как-то мне приснилось, как мы с тобой едем на велосипеде по проселочной дороге, а впереди - шоссе. Ровное и быстрое. Мы уже почти до него добрались, стоит сделать шаг – и мы там. Но у нас почему-то не получилось. После безуспешных попыток пришлось развернуться и опять трястись по ухабам. Ты не знаешь, что это может означать? Опять забыла. Ты терпеть не мог, когда пересказывают сны. И говорил, что у тебя их почти не бывает, только изредка – черно-белые. А у меня всегда красочные.

Неужели я тебе никогда не снюсь?

Повторяюсь. Так уже спрашивал у меня в пьесе брошенный мальчик у своего папы-призрака. Но неужели ни разу за все это время ты не проснулся среди ночи оттого, что только что видел, как мы с тобой вдвоем едем на велосипеде? Ты – тридцатилетний, без единого седого волоса, с трудом помещающийся на Каме; я, счастливая, двухлетняя, стою на раме, отказываясь присесть на кончик седла, чтобы ты не догадался, как я устала стоять. Я закрываю глаза и чувствую, как велосипед поскрипывает и подпрыгивает на пыльных желтых ямах Красково. Я всегда чувствовала несправедливость, когда мы уезжали без мамы. Иногда она в шутку присаживалась на багажник, но троих коротконогая Кама не выдерживала.

Бледно-зеленая, ободранная, почти двадцатилетняя, как и я, она стоит в сарае у нас даче. Я каталась на ней в прошлом году, подскакивала на так и не ставших родными Игнатьевских кочках. У велосипеда тоже есть память: если присмотреться, на раме можно разглядеть две чуть стертые полосы.

Это я. Я. Неужели ты меня не узнаешь?

1 августа 2002

## Письмо 4

Давай с тобой поговорим. Только ты и я. Я не могу больше это делать через подставные лица. Сколько еще листов бумаги нужно исписать, сколько еще оставленных детей и оставивших отцов мне нужно выдумать, чтобы докопаться до правды? Как это получилось, скажи? Ведь так не бывает на свете… Честно говоря, я даже в мировой литературе не встречала подобного, хотя только мои зрительные нервы знают, сколько я прочла. Я устала отвечать от твоего имени. У меня не хватает ни фантазии, ни логики, чтобы понять.

Кто ты такой? Разве ты – это тот, кто носил меня маленькую на руках, когда у меня болел живот, и напевал дурацкие песенки, от которых я почему-то плакала? Как будто знала, что когда-нибудь даже напоминание о них будет навертывать слезы на мои глаза. Разве это мы с тобой вдвоем жили на даче, когда все работали, а был уже август, шел дождь, и деревянный дом пропах сыростью? Разве ты водил меня по субботам в художественную студию, где занятия шли ровно шесть часов - от девяти утра до трех? Разве не ты отравил меня журналистикой? Не ты привил мне любови, от которых я не могу отвязаться до сих пор: липкие весенние листочки, восточные сладости, фруктовый шербет? Разве я была когда-то единственным твоим ребенком?

Папа, папа, папочка. Что с тобой случилось? Как растопить твое сердце, заколдованное ледяным осколком? Не словами, верно. И не виньеточными фразами. А вот представь: закрой глаза и представь, что, когда мы виделись в последний раз, я не ответила тебе холодностью на равно-душие, не повторила твой нервный смех, а обняла бы тебя и заплакала – тихо и дождливо, а не истерично, как когда пыталась вернуть тебя домой.

*Il pleure dans mon coeur,*

*Comme il pleut sur la ville.*

*Quelle est cette languer,*

*Qui penetre mon coeur.*

Это мое любимое стихотворение Верлена. Лучший – и все же нестерпимо не тот – перевод Сологуба выглядит так: «В слезах моя душа. Дождем оплакан город…». Но это неверно. У Верлена – дождь идет в сердце, и лучше об этом не скажешь. Я позаимствовала у него этот образ два года назад, когда написала единственный стишок, который могу кому-то показать (остальные нужно поскорее уничтожить, пока до них не добрались корыстные наследники):

*Тусклое небо и пухлые тучи*

*Проникли мне в душу змеею ползучей,*

*Мне пасмурно в сердце,*

*Дождливо в груди,*

*И нервы намотаны на бигуди.*

Жаль, что я не унаследовала твоего дара стихоплетства. Ничего так не освобождает, как это. В писании стихов есть какая-то магическая мелодия, первобытная повторяемость ритма, которая заговаривает боль. Почему ты перестал их писать?

Я начала учить французский сразу после твоего ухода. Таинственное совпадение, правда? Когда-то ты говорил, что поэтический французский слишком сложный, и ты его не понимаешь. И мне тоже не хотелось его понимать. Но с прозой-то легче? Papa, qu’est-ce que se passe? Pourqoui tu ne m’aime pas? На каком еще языке мне к тебе обратиться, чтобы быть услышанной?

2 августа 2002

### Письмо 5

Что мне от тебя нужно? Странный вопрос – его обычно задают подростки, которые не могут справиться с агрессией. А для чего тебе твой отец? Или, может, ты в нем никогда не нуждался? Хотя, скорее, это он в тебе, поэтому ты – обиженный в детстве и на всю жизнь – всегда рассказывал мне «рождественские» истории о том, как он ломал твои игрушки и не давал денег на кино. Ты тихонько вытаскивал монетки из карманов его пальто и боялся его побоев. Я плакала и благодарила Бога за то, что мне в отцы он послал тебя. Но он ли?

И все же я гордая. И не буду напоминать тебе об унижениях, сквозь которые прошла, когда ты, уходя, оставил нас без денег. Помнишь, как я в шутку при чужих людях сняла шляпу и просила у тебя на пропитание для брошенной твоей семьи? Но шутка ли для человека стоять с протянутой рукой перед собственным отцом?

Мои дети не узнают об этом. По крайней мере, пока будут маленькими. Я не буду вскармливать их кровью из собственной груди и растить в ненависти к моему отцу – как это делал ты. Они вообще не будут знать о твоем существовании.

У меня не будет прошлого. Я выжгу твое лицо с детских моих рисунков. Выброшу листок с твоим стишком о малиновке, написанный твоей рукой. Откажусь от отчества, к которому и так чувствую непричастность. Уходя, ты не забрал с собой мои сопроводительные записочки, которые я тайно подсовывала в твою сумку, когда ты уезжал в командировки. Подскажи мне адрес, по которому их отослать – я не могу держать их дома, не могу выбросить: в прошлое, 10 лет тому назад, любящему меня папе? Думаешь, они дойдут?

Ты ни разу не уехал без моего сберегательного письмеца – я верила в силу мной же введенной традиции и считала, что не имею права подвергать тебя опасности путешествия без бумажного ангела-хранителя. Видишь, оказывается, я с детства чересчур верила написанным словам. К счастью моей трезвости, электронная почта ненадежна, она уже уничтожила многие дорогие моему сердцу любовные переписки.

Я изменила форму бровей. У меня другая фамилия. Мои новые друзья ничего о тебе не знают. Но что мне делать с твоим профилем на моем лице, твоим выражением моих глаз, твоими словечками, срывающимися с моих губ? Я не могу отредактировать свой генный код и не могу не просыпаться по ночам в холодном поту от ужаса, что рожу твоего – во всех смыслах – внука. Думаю, это справедливо, что у тебя нет сына. Но у тебя есть дочь!

*На пороге притаясь –*

*Что, ты думаешь, я слышу?*

*Как кузнечик, веселясь,*

*Песней выстрелил под крышу.*

*Вот малиновка. Она*

*Рядом с кленом песню спела.*

*Поскакала у окна*

*И куда-то улетела.*

*Этот мир люблю с рожденья.*

*Нету радостнее муки,*

*Чем внимать ему с волненьем,*

*Протянув навстречу руки.*

Помнишь, когда ты это написал? В шестом классе мне задали перевести английское стихотворение, и я устроила между вами с дедушкой поэтический конкурс. В школу отнесла дедушкино. Потому что твое мне было стыдно выдавать за свое. Все равно бы не поверили (кажется, и с дедушкиным вышла накладка).

Дедушка. Ты даже не был на его похоронах. Уходя, ты с ним не простился, молча пронося чемоданы мимо его искривленного болезнью, парализованного сознания. Думаешь, раз он не мог говорить, ходить и помнить, его не волновала судьба дочери и внучек? У него был поражен центр речи, памяти, но никак не чувств. Хотя куда бы лучше это. Ничего страшнее медленной пытки на смертном ложе, в которое превратилась собственная кровать, не придумать: умирать бесконечные 7 лет, ощущать себя обузой для своих близких, любить их всем сердцем и не мочь даже словами выразить свое сочувствие. Но я никогда не забуду его глаз – не тех ярко-синих, из моего детства, которые всегда улыбались, баловали меня и защищали, а тех бездонных помертвевших окон в другой мир, из которого он смотрел на нас и ничего не мог сделать. Я тоже с ним не попрощалась. Мы уезжали на пару дней на дачу. Вопреки обычному, я не зашла к нему, не поцеловала и не сказала «до скорого». В следующий раз его – вернее, его восковую подделку – я увидела уже в крематории. Или на панихиде. Не помню деталей тех укачивающих переездов, когда какие-то чужеродные люди говорили какие-то посторонние слова, крышку гроба то поднимали, то опускали, а дед так и продолжал там лежать – накрашенный, холодный, иссохший и чужой. Мы ездили по городу в автобусе, помеченном черной лентой, периодически встречаясь по дороге со свадебными картежами, украшенными кружевами и куклами – в августе многие женятся. Я смотрела в окно и старалась заставить себя не запоминать дорогу и лиц прохожих.

Я никому об этом не рассказывала. Даже в пьяных соитиях несчастных душ, когда только что познакомившиеся ребята оголяют друг перед другом свои нагруженные тяжелым опытом прошлые жизни (а о чем еще, ты думал, бесконечными черными зимними ночами молодежь занимается на вечеринках?), я умалчивала. И о деде, и о тебе. Не хотела пробуждать к себе неминуемую жалость. Уподобляться тем, кто уже с порога заводит свою безутешную, каждый раз повторяющуюся песню («Когда умирала моя подруга…», «Когда меня изнасиловали в 12…», «Когда я был вынужден уйти из дома…»). Гордячка. Наверное, это говорит во мне польская кровь. Не твоя – заметь.

3 августа 2002

### Письмо 6

Что я делаю? Как это получилось? Когда это началось? Как будто я только что очнулась ото сна - я тебе пишу письма? Тебе, меня презревшему? От меня отрекшемуся? Перечеркнувшему мое детство и мое право на счастье? Я – те самые 80%, которые, по твоим подсчетам, растут в неполных семьях. Откуда у тебя такие цифры? И почему ты решил их пополнить новобранцами?

Мои щеки горят. У меня чувство, как бывает во сне, когда ты в ночной рубашке оказываешься на улице. Зачем я так разоткровенничалась? Разве мне так не хватало общения с тобой? Но мы никогда не были особенно близки. Хотя иногда мне казалось, что мы отлично понимаем друг друга. Не то, чтобы между нами существовала глубокая духовная связь – иногда это бывает между людьми – но мне всегда хотелось понимать тебя и быть на тебя похожей. Мне нравилось твое чувство юмора – тогда, когда ты умел необидно острить, твоя ловкая словесная эквилибристика, превращающая обычные фразы в новые формы языка, твое умение привлекать к себе внимание – не молодых женщин (продавщиц, официанток, моих подруг, при виде которых ты последнее время совсем терял над собой контроль), а всех людей, оказавшихся в зоне досягаемости. Ты был для меня образцом – отца, мужа, профессионала. Маленькая, я не думала, что существуют журналисты, талантливее тебя. Постарше, я верила, что ты действительно доблестный человек, боровшийся в начале 90-х за свободу слова. Боже, не было страшнее и бесконечнее часов, как те, что в августе 91-го мы провели в ожидании дальнейшей нашей (в политическом масштабе…) судьбы, в неведении относительно тебя. В короткие трескучие телефонные разговоры, когда мы были на даче, а ты в Москве, ты успевал прокричать, что кругом танки, и домой ты не придешь. Я помню душное, тошнотворное свертывание желудка, оглушающую неизвестность и темень перед глазами, когда мы думали, что с тобой может что-то случиться. Я успокаивала маму и пела потихоньку сестренке английские песенки – только так она, полуторогодовалая, могла уснуть. Я помню свой ужас тогда: что я с ними буду делать, если тебя… Мне было 9 лет.

Через год я проснулась в неутешных рыданиях. Мне приснилось, что ты женился на другой женщине, и свадьба проходила прямо под нашими окнами. Ты вытирал мои слезы и говорил, что этого никогда, никогда не будет. Я нажимаю рычаги в своей внутренней машине времени, меня окутывает дым, я закрываю глаза и погружаюсь во тьму. Сейчас 92-й год. Я просыпаюсь. Слезы непрерывно льются из моих глаз. Я сижу на кровати, в ночной рубашке, и из меня выпрыгивают жалобные горловые стоны. Папа, папочка, скажи, что это не так! Что такого никогда не случится! Что никогда ты не променяешь нас на другую семью и не родишь себе вместо меня другую дочь! Папа! Что я не перестану быть твоей дочерью!

Повтори, повтори еще раз, чтобы я получше запомнила. Чтобы через много-много лет, когда я буду делать вид, что все хорошо, что мне вовсе не нужен отец, что я совершенно не страдаю из-за твоего ко мне безразличия, у меня в голове звучали твои слова: что ты, Нина, что за глупости. Я всегда буду тебя любить. Никто в целом мире не заменит мне тебя. Ты есть и будешь моя дочь.

Ты думала, я герой, - сказал ты, уходя. – А я обычный человек. – Неужели ты считал, что я не смогу тебя любить как обычного отца? Как любят в деревнях, называя тятькой и утыкаясь лбом в широкое отцовское плечо?

Я очень устала. Устала бороться с твоим призраком. Играть твою роль в семье. Чувствовать на себе твою ответственность за маму и сестру. Устала, потому что у меня не бывает летнего отдыха. Устала ненавидеть тебя. Обвинять тебя в своих неудачах. Устала от попыток достучаться до тебя. Прорвать свинцовую броню вокруг твоего оплывшего жиром равно-душного сердца. В котором задохнулась, видимо, любовь ко мне. Я разлюбил тебя, как и твою мать. – Скажи! Скажи, и я пойму тебя. Но я не понимаю молчания!

### Письмо 7

Дорогая моя дочка!

Большое спасибо за сочувствие. Я очень тебе признателен. Желаю тебе никогда в жизни не уставать, а если и уставать – то быстро отдыхать.

Твой Папа.

11 ноября 1990

Нина Беленицкая

1. 1 Название я думала, что заимствую у Салтыкова-Щедрина. Однако при ближайшем рассмотрении оно оказалось «Письмами к тетеньке», а не «тятеньке». Но было уже поздно. [↑](#endnote-ref-2)